

Михал Гедройц

По краю бездны

Хроника семейного путешествия
по военной России

Michał Giedroyć
Crater's Edge

A family's epic journey
through wartime Russia

Михал Гедройц
По краю бездны

Перевод с английского
Елены Островской



издательство **астрель**

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44
С71

First published in 2010 by Bene Factum Publishing Ltd represented by Cathy Miller Foreign Rights Agency, London, England.

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при содействии издательства АСТ

Гедройц, Михал

С71 По краю бездны / Михал Гедройц; пер. с англ. Е. Островской. — Москва: Астрель : CORPUS, 2013. — 304 с.

ISBN: 978-5-271-45447-9 (ООО “Издательство Астрель”)

Михал Гедройц родился в Польше в 1929 году. В 1939 году, когда страну захватили Германия и СССР, отца, который был юристом и видным политическим деятелем, посадили в тюрьму, а мать, сестер и Михала депортировали. Они жили в Сибири, затем в Иране, Палестине, Ливане, а в конце войны оказались в Великобритании. В своих воспоминаниях Гедройц рассказывает о том, как быстро ему пришлось взрослеть. В его истории много драматичных и даже трагических моментов, но вся она пронизана удивительным достоинством и оптимизмом.

УДК 821.111-94
ББК 84(4Вел)-44

ISBN: 978-5-271-45447-9 (ООО “Издательство Астрель”)

- © Michal Giedroyć, 2010
- Карты © John Gilkes
- © Е. Островская, перевод на русский язык, 2012
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2012
- © ООО “Издательство Астрель”, 2012
Издательство CORPUS

Содержание

<i>Предисловие</i>	9
Глава 1. Опасность	13
Глава 2. Лобзов	29
Глава 3. Из Деречина в Слоним	54
Глава 4. В Сибирь	75
Глава 5. Надежда	100
Глава 6. Аня	122
Глава 7. Тадзио	132
Глава 8. По ту сторону Оксуса	146
Глава 9. Двадцать лет счастья	164
Глава 10. Гранатовый город	186
Глава 11. Боевые искусства	211
Глава 12. <i>Ad Mare Nostrum</i>	250
<i>Послесловие</i>	272
<i>Благодарности</i>	281
<i>Генеалогические таблицы</i>	283
<i>Предметно-именной указатель</i>	286

Моим родителям посвящается

Предисловие

Спустя семьдесят лет после Второй мировой войны в печати продолжает появляться большое число военных мемуаров. Многие из них написаны людьми, видевшими лишь малую толику событий, другие — теми, кто не в состоянии поместить пережитое в более широкий контекст или был слишком молод или изолирован от остального мира, чтобы понять происходившее во всей полноте. Значительное число мемуаров написано сыновьями и дочерьми ветеранов войны, которые стремятся сохранить память о суровых испытаниях, выпавших на долю их отцов и дедов, но сами не были непосредственными участниками событий.

Поэтому предлагаемые читателю мемуары Михала Гедройца — книга особая. Будучи ребенком во время войны, он, тем не менее, был достаточно взрослым, чтобы понять, как бесчеловечно обошлись с его семьей, и надолго сохранить это в памяти. Одиссей поневоле, он отправился в странствие, которое увело его далеко от болот Восточной Польши, на Ближний Восток, к Средиземному морю и, наконец, к берегам Британии. И, как талантливый историк, он в состоянии сочетать описание чувств подростка

со зрелым анализом — немногие из тех, кто пережил войну, могут сравниться с Михалом Гедройцем в широте знаний или написать столь же превосходный текст.

Михал Гедройц родился в аристократической семье в Новогрудском районе (на территории современной Белоруссии) и всю свою жизнь был тесно связан с бывшим Великим княжеством Литовским. Его предки были великими князьями. Он, как и его кузен, покойный Ежи Гедройц, редактор парижского журнала *Kultura*, вырос в навсегда исчезнувшем предвоенном мире богатых помещиков и интеллектуальной утонченности. Однако Михал разделил судьбу сотен тысяч беженцев и депортированных лиц — нищих, бездомных, полуголодных, полузамерзших, заброшенных в чужие страны. Его семья оказалась под двойным ударом — они были поляками, в которых Сталин (справедливо!) подозревал отсутствие энтузиазма по отношению к Советскому Союзу, и помещиками, которых коммунистическая идеология (отнюдь не справедливо!) клеймила как паразитов и эксплуататоров. Сначала их изгнали с их собственной земли. Затем, после ареста отца и всех родственников семью разлучили и затолкали в вагоны, идущие на восток, в неизвестность. К счастью, Михал был с матерью, женщиной мужественной и изобретательной. Когда поезд проходил под стенами Минского замка, они знали, что в нем заключен их отец и муж, и им оставалось только надеяться, что он выйдет оттуда живым.

За последние годы польскую одиссею в Сибирь 1941–1942 годов, а затем в Персию, Ирак и Палестину живописали несколько раз, и она уже утратила характер “исторической сенсации”, которую можно представить как откровение. Тем не менее подход Михала Гедройца принесет пользу читателям. Англичане и американцы, которых всегда учили

видеть только один великий источник зла военного времени — нацистскую Германию, — обнаружат, что история войны в западном изложении выглядит крайне односторонней. Читатели из Восточной Европы, и в частности из Польши, выросшие в послевоенное время, увидят, сколь сильно отличаются подлинные исторические факты от фальсифицированной версии истории, насаждавшейся до 1989 года.

Однако в значительной степени очарование и ценность этой книги — в деталях. Михал Гедройц обладает талантом воссоздать чувства ребенка, который наблюдает за тем, как грабят и разоряют его дом, или оценить, на какие уловки идет его мать, чтобы взять верх над враждебными и алчными чиновниками. Один из самых поразительных эпизодов происходит в Персии, когда детей, которые уже умеют читать и писать, попросили написать свою биографию и биографии своих друзей. Тысячи маленьких поляков, многие из них — сироты, были эвакуированы из Сибири; все они недоедали и толком не учились. Автору улыбнулась фантастическая удача добыть этот (сохранившийся в архивах Гуверовского института) документ, написанный им о себе самом в 1943 году, и взглянуть на него глазами взрослого человека и ученого.

В книге, разумеется, отсутствует продолжение: повествование завершается в момент, когда на горизонте появляется гавань Саутгемптона. Но читателю будет интересно узнать, что Михал Гедройц добился успеха в жизни. Черпая силы в сознании того, что он выжил, он прекрасно адаптировался к принявшей его стране, в совершенстве овладел ее языком, преуспел в бизнесе и со своей женой-англичанкой создал образцовую семью с четырьмя чудесными детьми. Кроме того, уже выйдя на пенсию, Михал Гедройц занялся изучением зародившейся в Средние века литовской госу-

дарственности (с Литвой у него сохранилась неразрывная связь), нашел время для публикации книг и статей и широко распахнул двери своего гостеприимного дома для друзей и коллег. Сегодня Михал Гедройц, наследник давно ушедшей эпохи, и его жена Роза могут с гордостью и удовлетворением оглядываться на свою долгую жизнь, состоявшуюся вопреки драматическому началу. Вокруг их очага с удовольствием собираются друзья со всего мира впитать уроки *savoir vivre** и *savoir survivre***.

НОРМАН ДЭВИС

* Искусство жить (*фр.*).

** Искусство выживать (*фр.*).

Глава 1

Опасность

Август 1939 года шел своим чередом. Гости города разъехались; начинался сбор урожая. После бурного лета мать вернулась к своим любимым саду и ульям — и мужественно переносила укусы и распухшие глаза. Отец, поздоровевший после летнего отдыха, загорелый и худой, сбрил бороду и отращивал волосы, пытаясь вернуть своей стриженной голове приличный вид.

Мою старшую сестру Анушку отправили в дальнюю гостевую комнату, “норку”, как ее все называли, чтобы ничто не отвлекало ее от учебы. Ей предстояла передача университетских экзаменов за первый курс, которые она завалила два месяца назад, увлеченная водоворотом варшавского сезона. Окно комнаты выходило в парк, Анушка держала его распахнутым, и как-то утром в него влетела сова, искавшая после ночной охоты укромный уголок. Сестра обрадовалась компании, и сова поселилась на высокой печи. Так норка стала их общим убежищем, и отец, неизменный оптимист, видел в этом добрый знак: сова, символ возвышенных мыслей, наставляет легкомысленную студентку. В действительности же моя старшая сестра не особо себя утруждала. Ее

свободный распорядок вполне соответствовал неспешному образу жизни совы. Атмосфера в норке гармонировала с жарким летом за окном.

Моя сестра Тереска только что сдала свою “матуру”*. Это было достижением для семнадцатилетней девушки, и в награду родители разрешили ей поступить в Варшавскую высшую школу журналистики. Мечта должна была сбыться в сентябре, и она в эйфории ждала осени. А пока каждую свободную минуту проводила в седле, будто желая уверить своего норовистого мерина Ветерка, что разлука будет временной.

Мне тоже предстояло выйти в большой мир. Отец постановил, что в течение года я буду посещать “самую лучшую” частную школу в Варшаве с довольно претенциозным названием “Будущее”. Затем я должен был поступить в Первый кадетский корпус во Львове. Отец придерживался мнения, что мне требуется мужская дисциплина, а львовский корпус как раз этим отличался. Эти планы находили у меня горячую поддержку. Первый кадетский был школой моей мечты: столичный блеск и перспектива военной славы перевешивали любые возможные сомнения относительно армейской муштры.

Усадьба и две прилегающие к ней фермы — мой маленький мирок — продолжали свое мирное, замкнутое на себе существование. Конечно, поговаривали о войне, и мы знали, что наша кавалерийская бригада во главе с молодым генерал-майором Владиславом Андерсом уже передислоцирована к границе Восточной Пруссии. Его конные отряды проносились мимо нашей усадьбы во время недавних маневров — и нам они казались непобедимыми. Двадцать лет на-

* Так в Польше называется экзамен на аттестат зрелости.

зад, во время польско-советской войны, такие люди, как Андерс, разбили Красную армию. Я совершенно не замечал, каким озабоченным становился мой отец (опытный штабной офицер). Большая карта Европы, недавно появившаяся в его кабинете, была усеяна булавками и стрелками, нацеленными на Варшаву с севера, запада и юга. Вскоре нашу немецкую гувернантку, фрейлен Мари Шмидт, отправили обратно в Берлин. Сборщики фруктов, тоже немцы, незаметно исчезли. Мадемуазель Фелисите, французская гувернантка, уехала домой. В последние дни этого августа на почту стали часто отправляться верховые: отец напряженно ожидал указаний из Варшавы.

А я посреди всех этих событий жил как ни в чем не бывало и не задумывался, что все это означает. Напротив того, я был полностью поглощен своей новой ролью: теперь я сопровождал отца, когда он объезжал поместье. Это был своего рода обряд посвящения: я оставлял женщин и детскую ради публичного выезда с отцом. Говоря языком деревни, я вступал в роль “панича”, молодого господина. Я помню, как внимательно отец наблюдал за мной во время этих поездок. Тогда я считал, что он проверяет, насколько хорошо я держусь в седле. Сейчас я думаю, что в преддверии надвигавшегося шторма он вдруг забеспокоился, как я буду расти без него.

Первого сентября, в прекрасный день позднего лета, в Польшу вошли немецкие танки. По радио сообщалось о ковровых бомбардировках мирных объектов. Не дожидаясь нарушения государственной границы Польши, генерал Люфтваффе Вернер фон Рихтхофен отдал своим пикирующим бомбардировщикам приказ нанести удар по Велюни, приграничному городку, не имевшему никакого стратегического значения. Однако для генерала огромное зна-

чение имел сам налет: он устроил испытательный вылет по живым целям для своих новеньких “штук”. Люфтваффе сравнивали с землей городскую школу, больницу и практически все вокруг. В это сентябрьское утро Велюнь заняла место в истории, в одном ряду с Герникой. Регулярная армия Польши была лишена резервистов, поскольку в последние мирные дни западные союзники неоднократно просили польское правительство повременить со всеобщей мобилизацией — пока не стало уже слишком поздно. Мой отец тоже так и не получил долгожданного приказа: затерянный среди восточных болот Лобзов был вне досягаемости для работавшей на пределе возможностей системы связи.

Первое сентября началось обычным порядком. Рано утром из Деречина на велосипеде приехал полицейский осведомиться о местонахождении лобзовских немцев, гувернантки и работников. Удовлетворившись ответом, что их уже нет с нами, он проследовал далее. Тем же утром мать решила отправиться в Деречин. Я обратил внимание, что это внеочередная поездка, потому что была пятница, а еженедельные поездки матери в Деречин приходились на вторник — базарный день. Я попросил разрешения поехать с ней, и мы сели в “волант” (наш четырехколесный экипаж на каждый день) и поехали, на козлах сидел наш кучер Косовец, облаченный в летний пудермантель* и фуражку. Мы приехали в магазин пана Веняцкого и увидели привычную картину: хозяин угощал гостей шоколадом на серебряном подносе. Единственное, что отличало этот день, — в магазине было непривычно много народу. Моя мать чинно вошла в магазин, завела беседу с друзьями и знакомыми и демонстративно купила только два килограмма сахара. Толпа начала рас-

* Летнее пальто.

сеиваться, решив, что оснований для экстренных закупок нет. Это был впечатляющий пример публичной кампании, хотя, вероятно, благоразумнее было бы не мешать хозяйкам Деречина забивать свои кладовые.

Отчаянные попытки отца связаться с парламентом, который располагался на улице Вейске, были безуспешны. За обедом, прошедшим в напряженной обстановке, отец говорил, что пойдет воевать. Это была пустая мечта, он отлично знал, что сенаторы не могут служить на действительной военной службе. Чего он не знал, так это что через два дня, 3 сентября, этот закон отменяют. Поэтому он поступил так, как поступил бы в подобных обстоятельствах лучший из наполеоновских маршалов: он решил “идти на выстрелы”. В тот же день, 3 сентября, кучер Косовец отвез его на станцию, на сей раз в сияющей “виктории” (нашей парадной карете). В Зельве отец начал свой марафон навстречу немецкому оружию — к Варшаве.

Мать, полная тихой решимости, осталась заниматься делами в Лобзове. Вести с фронта ничего хорошего не сулили, но на мне это никак не отразилось: вокруг меня война не давала о себе знать. Мать, как всегда оптимистичная, была убеждена, что вмешательство Франции и Англии неизбежно. Ее уверенность успокоила нашего управляющего пана Домбровского и работников. Усадьба и фермы, будучи вдали от фронта, шоссе и железных дорог, продолжали жить своей размеренной жизнью.

На самом деле мы уже успели столкнуться с врагом лицом к лицу, но эта встреча оказалась вполне невинной. Обходя свои ульи и сад, мать услышала шум низко летящего самолета. Когда он пролетал мимо, она, в полной уверенности, что это наш, помахала пилоту, а тот помахал ей в ответ. Тогда мать увидела на фюзеляже черный крест. Моя няня

Мартечка негодовала, и я впервые услышал, как она отчитывает хозяйку: “Пани следует быть осторожней!”

Должно быть, это был самолет-разведчик, потому что вскоре в отдалении послышался грохот бомбежки. Позже мы узнали, что в 30 километрах от нас разрушен мост через Неман. Этим безоблачным днем люди смотрели на небо, и, конечно, высоко над головой загудел самолет и сбросил на Деречин одну-единственную бомбу. Ориентиром был, очевидно, шпиль нашей церкви, потому что бомба разорвалась прямо рядом с ней. На этом месте осталась огромная воронка. К счастью, обошлось без жертв.

Война пришла к нашему порогу. А из Варшавы вестей так и не было. Мать поставила викторию постоянно дожидаться на станции, и чем дольше мы ждали, тем становилось тревожней.

Однажды утром, думаю, это было 12 сентября, мне сказали, что отец вернулся поздно ночью, и мы не должны шуметь, потому что он отдыхает. Когда он наконец появился, он все еще выглядел усталым. И — что поразительно — он, великолепный рассказчик, хранил молчание. Матери удалось вытянуть из него какие-то детали, и по ним я могу теперь реконструировать, что произошло. На Зельве (нашей железнодорожной станции) ему сказали, что прямое железнодорожное сообщение с Варшавой уже перерезано. Ему посоветовали кружной путь через Брест, на добрых 150 километров дальше к юго-западу. В Бресте, когда он наконец туда добрался, он увидел длинные составы без опознавательных знаков на боковых путях. Ему (шепотом) сообщили, что это первая волна эвакуации, там были и высшие эшелоны правительства. Наверно, отцу следовало в Бресте развернуться, но он этого не сделал, он решил идти против течения, все еще надеясь, что в столице его могут ожидать инструкции.

Шестого он добрался до Варшавы и застал пустой зал заседаний сената, пустые коридоры и кабинеты. Накануне парламент выехал из Варшавы. Город был в затемнении от бомбежек, транспорт переполнен, телефоны, как правило, не работали, а вокзалы осаждались беженцами. На следующий день отец решил развернуться и ехать на восток: там уже находились государственные учреждения, а также были его жена и дети. Ехать против течения было не просто, но влиться в поток беженцев оказалось кошмаром. Перед ним лежала сеть автомобильных и железных дорог, и по ней отец прокладывал себе путь сначала на машине, а потом, когда закончился бензин, на поезде, телеге и пешком. Об этой части пути он говорить не хотел; сказал только, что кругом были “огонь и кровь”. Об этом позаботились Люфтваффе. Восьмого немецкая армия заняла позиции на подступах к Варшаве.

Следующие пять дней над Лобзовом висела странная, напряженная тишина. Было, впрочем, одно событие, которое произошло вскоре после возвращения отца. Во время обеда — пока еще чинного, как раньше, со слугами и сдержанным разговором — нас потревожил шум самолета. К этому моменту польские самолеты уже почти не летали, и отец отреагировал инстинктивно: собрал нас всех в тесную группу в дверях между столовой и гостиной. Больше он ничего не мог сделать. Шум нарастал и превратился в рев — и постепенно стих. На этот раз обошлось. Мы все вернулись к столу. Жизнь возвращалась в “нормальную” колею: работа на ферме шла своим чередом, а небо было безоблачным.

Отец не отходил от радио, а когда батарея разрядилась, стал совершать частые прогулки в деревню послушать радио пана Стечко, школьного учителя. Я ходил с ним и вскоре обнаружил, что они слушают не Берлин и не Варшаву, а Мо-

сзву. В эфире неоднократно звучало русское слово “нейтралитет”. 17 сентября советское радио объявило, что Красная армия пересекла границу Польской Республики. Началась вторая оккупация нашей страны.

Лобзовская усадьба, оплот старого режима, оказалась на ничейной территории, зажатой между двумя врагами: на западе немцы, а на востоке — Красная армия. Закон и порядок, действовавшие, пока польская армия сражалась с Вермахтом, неожиданно рухнули. Теперь все зависело от реакции местных общин, двух наших белорусских деревень Лобзова и Котчина и этнически смешанного города Деречина. Отец ожидал от них сигнала.

Местные “комитеты” почти сразу же дали понять, что хотели бы обсудить промежуточные условия с “хозяйном-наследником”. Комитеты стали спонтанной реакцией на опасность. Их беспокоили вопросы непосредственной безопасности, а кроме того, они чуяли возможности перераспределения земли.

Эти первые контакты между усадьбой и комитетами не были ни враждебными, ни даже напряженными. В наших деревнях знали отца как полезного соседа и, что даже более существенно, справедливого и сочувствующего им судьбу местного магистрата. Мои родители хорошо знали членов комитетов — на тот момент все они были деревенскими старейшинами, — а некоторые из них даже были в дружеских отношениях с усадьбой. С их помощью условились о встрече в Деречине, на которую отец планировал взять всю семью, на случай, если будет решено остаться в Деречине или переехать в Слоним, городок километров на 35 к востоку.

В тот же день, 17 сентября, рано утром, у подъездной аллеи появился желтый кабриолет, запряженный красивой парой серых лошадей. В нем сидел усатый пожилой господин и две молодые женщины с большим холеным бульдогом. Реакция моих родителей была автоматической и напоминала Консьержери в эпоху Великого террора: они официально приняли гостей, в то время как члены комитета ожидали на почтительном расстоянии. Гостями были Сташевские, господин и две его племянницы, Зося и Марго, из усадьбы Гнезна около Волковыска, километров на 40 западнее. Родители не были с ними знакомы, но слышали о них. Девушки казались очень искушенными, и моя младшая сестра Тереска — в свои семнадцать лет еще не знавшая света — смотрела на них с завистью. Они бежали от приближавшихся немцев — прямо в распростертые объятия советских войск... Комитет принял наших гостей сдержанно, и — поскольку была опасность, что с дальних полей придут бандитствующие элементы, — отца попросили взять Сташевских с собой в Деречин.

Встреча с комитетами началась вскоре после полудня 18-го за столом в кабинете мэра. Я хорошо ее помню, потому что мы все на ней присутствовали. Встреча была долгой и для меня скучной. Я не понимал, что за этим столом принимались решения на следующие два-три дня, те самые два или три дня, которые сегодня кажутся мне самыми опасными днями нашей жизни. Комитетчики сказали отцу, что на территории коммуны Деречина он и его семья в безопасности. Однако гарантировать нам безопасность за ее пределами они не могли и потому не советовали ехать в Слоним. Было принято решение, что Гедройцы (и их гости) вернуться в усадьбу. Мой отец закрыл встречу заявлением, что наступает новый порядок и две “наши” деревни

должны немедленно взять на себя функции управляющих именными усадьбы и таким образом заявить советской власти о своих притязаниях на фермы. Это было спокойное и прагматичное приятие неизбежного и в то же время намек на то, чем может грозить постсоветское будущее мелким собственникам Лобзова и Котчина. За бесценный дар безопасности, сколь бы хрупкой и недолговечной она ни была, отец отплатил прозорливым советом.

Сташевского попросили сдать оружие, а отцу разрешили оставить. Поздно ночью мы вернулись в усадьбу, детей положили спать в одежде, а взрослые — родители, Сташевские и их “кураторы”, которых прислала деревня Лобзово, — начали свои бдения. Ночь не была мирной. На пороге появилось небольшое подразделение польской армии — около дюжины голодных и сбившихся с пути солдат с офицером. Их надо было накормить и дать им отдохнуть, а наших лобзовских кураторов убедить, что за их спиной не строятся планы по восстановлению старого социального порядка. Наконец солдаты снова отправились в путь, услышав уверения отца, что в покидаемом ими анклавe мир, по крайней мере на данное время.

Вторник, 19-е, прошел тихо. Присутствие комитета успокаивало, а ощущение общей опасности укрепило связь между кураторами и курируемыми. В какой-то момент даже раздался смех, когда мать предложила в ожидании прибытия советской власти сделать членам комитета красные нарукавные повязки. Предложение с готовностью приняли. И оно оказалось весьма своевременным, потому что поздним вечером в парадное постучался советский разведотряд.

Это, по всей видимости, было элитное подразделение, командовал которым вежливый офицер, действовавший очень профессионально. За ужином — его пригласили

к ужину — он показал мне свой тяжелый наган, а моему отцу — подробную карту с указаниями, как найти дом сенатора Гедройца. Разведотряд без шума удалился, и тогда мы с Тереской замыслили самый идиотский заговор, который только можно себе представить. Мы решили зарыть несколько бутылок нашего любимого вишневого сиропа в дальнем углу парка, потому что не хотели, чтобы чужаки украли наше драгоценное лакомство. Операция проводилась, когда небо потемнело и поднялся ветер. Эта идиотская затея почти наверняка не осталась незамеченной нашими кураторами, они посоветовались, но особого смеха она у них не вызвала.

Последовала еще одна напряженная ночь. Этой ночью, моей последней ночью в Лобзове — я провел ее на диване и полностью одетым, — комитет неожиданно предупредили, что с полей к усадьбе приближается банда, чтобы отомстить “врагам народа”. Жители деревни Лобзово тут же явились во всеоружии, встретили нападавших у дальнего входа в парк и прогнали их. Жизни Гедройцев (и Сташевских), поляков — представителей прежнего режима, были спасены лобзовскими крестьянами ради дружбы, которая окрепла за предыдущие 13 лет.

С наступлением зари среды 20 сентября ветер стих. Ранним утром, сырым и тихим, на нашей лужайке появилась советская бронированная техника. На лужайке напротив моего окна “в лучшие времена” садовник посадил маленькую серебристую ель, полагаю, что в мою честь. Тем утром я наблюдал, как по ней намеренно проехал советский танк. Из-за танков появился автомобиль с офицерами в голубых фуражках в сопровождении одного или двух молодых местных активистов, неизвестных моим родителям. Столпившись в маленькой гостиной, мы наблюдали, как отряд НКВД

направляется к главному входу. В прихожей бульдог Сташевских зарычал на пришельцев. За этим последовал выстрел. По-видимому, в прихожей была хорошая акустика, потому что звук выстрела был оглушительным. Пес умер на месте. Тогда энкавэдешники вошли в гостиную, где встретил их отец, который вышел на середину комнаты, как бы принимая огонь на себя. Один из энкавэдешников сказал в сторону, что в Советском Союзе нет недостатка в свинце. Это была шутка для своих, и она вызвала какое-то веселье в духе НКВД. Ее зловещий подтекст мне был непонятен. Тогда старший, в бурке по щиколотку, встал перед отцом и сказал: “Фадей Иванович Гедройц — руки вверх!” Он знал отчество, и это поразило меня. Моего отца разоружили, обыскали и стали, с подачи местных информаторов, подробно допрашивать о тайном складе оружия в Лобзове. Никакого склада, конечно, не было, и он так и сказал. В этом его поддержал лобзовский комитет, присоединившийся к предложению моего отца обыскать дом и участок. И тут наконец все прояснилось: мимолетный визит солдат польской армии, по-видимому, соединился в сознании информатора с ночным захоронением вишневого сиропа.

Начало обыска совпало с официальным арестом моего отца. Процедура отличалась холодной корректностью. Не было предъявлено никакого обвинения, отца передали офицеру Красной армии (не НКВД), который препроводил его к поджидавшему автомобилю с военной охраной. Мать махала ему с крыльца, и я заметил, что она дрожит, но не плачет. Она не знала, куда его везут.

Тем временем обыск продолжался. Я заметил, что солдаты забирают все альбомы с фотографиями, а их было немало. Все это было для меня внове, и я заворуженно наблюдал за происходящим.

Чужаки не скрывали своего интереса ко мне и моим сестрам. Мы сидели на диване в комнате у сестер, как в витрине, и один за другим входили поглазеть на нас вооруженные мужчины, пахнувшие кожей и дешевым одеколоном. Среди них я заметил одну или двух женщин в форме. Посетители демонстрировали холодное любопытство. Лишь один из них улыбнулся, обнажив несколько стальных зубов.

Через некоторое время я решился слезть с дивана и смешался с чужаками, производившими обыск. Я заметил двух или трех женщин — жен наших работников, — потихоньку выносивших с черного хода узлы с постельным бельем. Это был единственный случай мародерства со стороны наших же людей, об этом позаботились кураторы. А крестьяне Лобзова вели себя безупречно. Единственной уступкой новому режиму был красный флаг, который я заметил на хозяйственной постройке. Мне хотелось бы думать, что он был водружен в том же порыве, что и красные повязки.

Позже нам рассказали об одном необъяснимом факте вандализма, произошедшем этим утром. Кучер Косовец, любимец моего отца, в приступе безумия схватил топор и начал рубить нашу милую грабовую аллею. Он не нанес ей серьезного вреда, так как кураторы успели его остановить. Я так никогда и не узнаю, была ли это ненависть или отчаяние, но надеюсь, что отчаяние.

А тем временем Красная армия методично опустошала ферму. Свиноферма целиком превратилась в бойню, но неумелую: раненные животные беспрерывно пронзительно кричали, и на этом фоне шла “реквизиция” наших лучших лошадей. Лошадей проводили перед стоявшими на крыльце старшими офицерами. Лалка (Долли), норовистая красавица — матриарх всех наших полукровок, тоже вошла в число реквизируемых. Мы знали, что она слишком стара, чтобы

быть полезной Красной армии, и Тереска шепотом выразила надежду, что неминуемая кончина настигнет Лалку не раньше, чем она покажет им, как она умеет кусаться и лягаться. Гнезнинские серые тоже вошли в число трофеев, а мы скоро распрощались со Сташевскими, которых не тронули и отпустили пешком обратно.

Меньше чем через час после ареста отца вернулся удививший его офицер Красной армии. Мать бросилась к нему, и он вручил ей клочок бумаги. На нем была записка от ее мужа, написанная карандашом. Этот маленький серо-голубой обрывок лежит передо мной:

Дражайшая Анулечка!

Прошу тебя вручить подателю сего письма свои наручные часы. Он попросил их и заплатит за них двадцать злотых.

Он хороший человек. Сердечно тебя обнимаю.

Твой Тадеуш.

20 /9 /39. Деречин.

Я заметил, что у человека, который принес записку, добрые глаза; и он озабоченно смотрел на мать. Двадцать злотых были символической суммой. Записка была доказательством того, что мой отец добрался до Деречина живым и невредимым, а “сделка с часами” — способом выразить благодарность охране за то, что он еще жив. Кроме того, эта схема позволяла отплатить благородному солдату, не унижая его *а tout propre**.

В этот момент мать запаниковала. Она разрывалась между интересами детей и мужа. Она видела, что в хаосе обыска на детей практически не обращают внимания, в то время

* Самоуважение, чувство собственного достоинства (фр.).

как муж один в Деречине перед лицом опасности — а может быть, и смерти? — в лапах вражеской тайной полиции. Она сказала, что отправляется в Деречин. “Отправиться” означало идти пешком за три с лишним километра по мокрому полю. Это была очень опасная затея, потому что дружественные нам комитеты контролировали деревни, но не разделявшие их полосы. Няня Мартечка, не раздумывая, вызвалась идти с ней. Отведя нас троих во флигель к управляющему, они отправились по гати вдоль полей.

Во флигеле я заметил, что самого управляющего пана Домбровского нигде не видно. Потом мы узнали, что ему удалось выбраться в собственный дом в Деречине. Пани Домбровская оставалась со своими тремя детьми и теперь взяла на себя троих детей Гедройцев. Почти тут же ворвался советский офицер — энкавэдешник? Обнаружив нас, он выхватил револьвер, наставил его на меня и закричал: “Я этого щенка убью!” Я не помню никакого ощущения ужаса. И, вероятно, именно поэтому я совершенно точно помню, как выглядел этот человек. С темного лица прямо на меня смотрели горящие глаза. Они принадлежали высокому мужчине в кожанке. А я, не осознавая опасности, безмятежно смотрел в дуло его пистолета. Я и по сей день не выношу черных кожаных пальто и черных кожаных курток — вероятно, это отложенная реакция.

Пани Домбровская отважно вмешалась и попыталась его успокоить. В конце концов он убрал пистолет и вызвал вооруженную охрану. Было приказано отвести нас в самую дальнюю хозяйственную постройку поместья. Теперь мы были в руках врага, представленного истеричным командиром и тремя его людьми со штыками наизготове. В темной пустой комнате в самом дальнем углу фермы охрана отняла у нас наши наручные часы. Удачное совпадение — три пары

часов, а их как раз трое. Я никогда не узнаю, какие указания дал солдатам скорый на расправу офицер, потому что в комнате тут же появилась еще одна тройка вооруженных людей. На сей раз — штатские, вооруженные охотничьими ружьями моего отца, с красными повязками моей матери напоказ. Мы узнали наших кураторов. Они сказали советской охране, что им приказано доставить младших Гедройцев в тюрьму в Деречин. И под охраной этой, как я теперь понимаю, спасательной экспедиции, мы пешком отправились к нашему следующему пункту назначения.

Был уже почти вечер. На белом мостике на гати мы встретили мать с Мартечкой, спешивших к нам из Деречина, чтобы воссоединиться с нами. Мы узнали, что отец жив — и “невредим” — в деречинской тюрьме. Мать, отправив няню обратно в Лобзов, заявила о своем праве воссоединиться с детьми. Итак, мы все вчетвером пошли дальше по дороге, которая вела нас к отцу. Мать в третий раз за день преодолевала расстояние между городом и помещьем. Когда мы шли по картофельному полю, я попросил разрешения на минуту остановиться. Разрешение было дано, и я смог облегчиться. Так, очень приземленно панич распрощался со своим наследством.

Тем же вечером в деречинской тюрьме состоялось воссоединение семьи. Для матери, смертельно уставшей и почти радостной, это был “счастливый конец долгого дня”. Так закончилась среда 20 сентября 1939 года. Для меня и сегодня, 69 лет спустя, самый длинный день моей жизни.